

Иван Терентьевич Фофанов



В моей комнате между дверью и стеллажом висит под стеклом портрет пожилого человека с бородкой и венчиком седеющих волос.

Он курит грубоватую крестьянскую трубку, придерживая ее большой рукой. В нижнем углу итальянским карандашом подпись художника — «Г. Стронк». Это известный певец былин Иван Терентьевич Фофанов. Для меня это больше, чем портрет знакомого человека. С И. Т. Фофановым связаны незабываемые впечатления моей молодости.

Дело вовсе не в том, что я «открыл» И. Т. Фофанова, как П. К. Рыбников «открыл» Т. Г. Рябинина или Е. В. Барсов — И. А. Федосову. Я уже писал об условности слова «открыл», когда речь идет о человеке, который немало прожил до того, как его «открыли». Открывают «первых». Т. Г. Рябинин был первый крупный исполнитель эпических песен, с которым познакомилась русская наука. И. А. Федосова — первая исполнительница причети. В известном смысле они до сих пор не превзойдены. Но это тоже условно. Хороших сказителей было много, и хороши они были по-разному, каждый по-своему.

Про И. Т. Фофанова не скажешь «непревзойденный» или «крупнейший». Никаких рекордов он не ставил, но



Иван Терентьевич Фофанов

он один из наиболее замечательных знатоков и исполнителей русских былин и безусловно один из лучших певцов былин того поколения, к которому он принадлежал.

С именем И. Т. Фофанова были связаны первые и самые ранние мои успехи и увлечения в науке. Я помню об этом и стараюсь ничего не преувеличивать. Но

факт остается фактом: Ивана Терентьевича знает теперь каждый, кто интересуется русским эпосом и его исполнителями. И так, по-видимому, останется навсегда, т. к. подобные «открытия» происходят все реже. В этом, конечно, заслуга И. Т. Фофанова, а вовсе не моя. В моих же воспоминаниях самое главное — месяц, проведенный в 1938 году в селе Климове на берегу Купецкого озера. День в день я прожил его с Иваном Терентьевичем, ежедневно слушал его пение и тихие неторопливые рассказы. Они объяснили мне в нем человека и художника, которого я горячо полюбил. Иван Терентьевич один из наиболее значительных людей и самых поэтических натур, которых мне посчастливилось встретить, хотя не могу не признать, что жизнь в этом отношении баловала меня — сводила со многими талантливыми и непохожими друг на друга людьми.

Первая наша встреча произошла в июне 1938 года. И. Т. Фофанов был приглашен в Петрозаводск для пения былин участникам фольклорной конференции. Тогда еще никто не знал, сколько былин он помнит. Первая запись от него собирательницей И. В. Ломакиной (Гудовщиковой) дала всего два текста, правда, отличных, но все-таки только два. Можно было предположить, что это далеко не все. Как правило, записи от исполнителей, которые случайно запомнили одну-две былины, довольно легко отличить от вариантов подлинных мастеров, хорошо владеющих былинной традицией. В былинах, записанных И. В. Ломакиной от И. Т. Фофанова, чувствовался мастер. Поэтому устроители конференции хотели не только порадовать ее участников хорошим исполнением былин, но и выяснить, нельзя ли продолжить запись от И. Т. Фофанова. Это и было поручено мне. Я повторил записанное, чтобы Иван Терентьевич «распелся». Спел он действительно очень хорошо. Потом я записал еще две былины и укрепился во мнении, что с И. Т. Фофановым можно работать дальше. Я по-

нял, что в суматохе и многолюдии конференции, при постоянной смене слушателей, то внимательных и знающих, то просто любопытствующих, многого от Фофанова не добьешься. Этот спокойный и во всех отношениях достойный человек оказался застенчивым, даже робким. Искусственно вырванный из привычной среды, он не мог быстро примениться к городскому многолюдью и суете. Он привык петь былины землякам долгими и неторопливыми осенними или зимними вечерами или летними ночами в рыбацкой избушке, когда все дела уже позади. Там все друг друга давно знают, его умение ценят и восхищаются им. Мои торопливые просьбы («Иван Терентьевич! До заседания осталось сорок минут. Спойте мне, пожалуйста, что-нибудь. Хотелось бы записать что-то новое...») выводили его из равновесия, и он тихо, то ли смущенно, то ли насмешливо, говорил: «Да нет уж, Кирила! И мне не спеть, и ты не поймешь... Недосуг так, недосуг». Оставалось договориться с ним и приехать к нему домой, когда это ему удобнее.

Для участников конференции И. Т. Фофанов спел тоже очень хорошо. А. М. Астахова — в то время лучший знаток живой эпической традиции — признала, что давно не слышала столь «истового» пения, и поддержала меня. Руководство Карельского научно-исследовательского института (кажется, вопросом этим занимался тогдашний ученый секретарь, а позже многолетний директор института В. И. Машезерский) согласилось с моим планом.

Оказалось, что Иван Терентьевич в колхозе не работает; он ночной сторож нефтебазы местной МТС, и поэтому важно приехать не в сенокос, когда он днем непрерывно занят. Не откладывая, в августе того же года, я собрался к Ивану Терентьевичу, чтобы побыть у него столько, сколько понадобится для исчерпывающей записи.

Ближайший и наиболее удобный путь из Петрозаводска до деревни Климово Авдеевского сельсовета, что на Купецком озере Пудожского района Карелии, где жил Иван Терентьевич, лежал через Песчаное, до которого можно было добраться пароходом. Однако я решил, что так буду возвращаться, и, чтобы по сложившейся уже экспедиционной привычке не ездить дважды одним путем, стал искать другой вариант. Он быстро нашелся — пароходом до устья реки Шалы, а там по тропе на север до Купецкого озера. Не буду подробно рассказывать, как я добирался до Климова, хотя это могло бы быть небезынтересно.

В те годы, отправляясь в фольклорную экспедицию, мы могли надеяться только на свои ноги. Все внутрирайонные да частенько и межрайонные передвижения фольклористов совершались пешком. С рюкзаком за плечами, с фонографом в руках мы порой походили на современных туристов, только мы не стояли на обочине дороги и не «голосовали» пробежавшим мимо машинам в расчете на то, что они нас подвезут, их тогда было мало. Если не ошибаюсь, в Пудожском районе было считанное количество машин — райкомовская и райисполкомовская, райпотребсоюзовская... Какой-то грузовичок ходил более или менее регулярно между Пудожем и озером, на котором был гидродром — место посадки самолетов, летавших из Петрозаводска в Пудож. Вот, пожалуй, и все...

Поэтому добираться до Пудожя не имело смысла, попутную машину можно было ждать неделями. Не мудрено, что в те годы мы частенько ходили не дорогами, а просеками, тропами, пользовались услугами проводников.

Вспоминая все это, я не удивляюсь тому, что предупредил тогда И. Т. Фофанова о своем приезде письмом, а не телеграммой. Впрочем, и в письме я мог назвать только примерный срок выезда из Петрозаводска.

Кажется, даже не сообщил ему, каким путем буду добираться, а он, разумеется, думал, что через Песчаное. Пароход ходил раза два в неделю, не чаще. Помню, когда я появился на пороге избы Ивана Терентьевича, он меня не ждал. Фофанов был один дома, сидел на лавке около печи. Старый ватник накинут был на плечи, в руках какая-то работа, то ли корзинку плел, то ли вязал сеть. Как я потом убедился, он всегда был чем-то занят, но никогда не торопился.

Поживя у него, я открыл для себя еще и другое. Книжки Иван Терентьевич почти не знал. Батрачивший смолоду, он остался неграмотным. Он с удовольствием слушал чтение, но случалось это редко — если только кто-нибудь из школьников почитает. Радио или тем более телевидения в деревнях еще не было. Но это не значит, что умственная жизнь Ивана Терентьевича была вялой или неинтересной. Он прекрасно владел традиционной устной культурой — знал большое количество былин. И не только былин, но и песен, сказок, преданий, деревенских устных рассказов. Он непрерывно о чем-то очень сосредоточенно размышлял. Однако высказывал он свои мысли, накопившиеся за долгие годы, редко, только к случаю или в минуты особой откровенности и обычно очень лапидарно. Я и сейчас его вижу таким — руки чем-то заняты, лицо спокойно и удивительно красиво в своей сосредоточенности, хотя писаным красавцем его назвать было трудно. Для старой деревни, казалось бы, довольно обыкновенное, но все-таки очень значительное лицо, украшенное пытливыми, умными глазами. Он был одним из самых замечательных сказителей своего времени, но отнюдь не был словоохотлив. С посторонними людьми он мог провести несколько часов, не произнеся ни слова. Но когда он говорил о чем-то, не связанном с рабочими обстоятельствами текущего быта, это всегда было значительно и хорошо обдуманно, решено надежно и обстоятельно. Ко-

нечно, я несколько упрощаю, деревенская жизнь тридцатых годов вовсе не была застойной и традиционной; происходило многое — коллективизация, появились МТС, первые машины... Деревенский быт претерпевал значительные и далеко не всегда безболезненные изменения. И все же меня всегда — и в эту, и в последующие встречи — поражало душевное равновесие, спокойствие Ивана Терентьевича.

Я не сразу понял, как меня встретил Иван Терентьевич. Сначала показалось холодновато, что немало смутило меня. Когда я вошел в избу, он поднял глаза, удивленно протянул мне руку. Чтобы нарушить молчание, я сказал:

— Здравствуйте, Иван Терентьевич! Ну, вот я и пришел к вам!

— Ну что ж,— ответил он,— пришел, так хорошо. Сымай мешок (это про мой рюкзак) да садись.

Медленно, как будто нехотя, поднялся, вышел из избы и что-то прокричал в огород. Потом выяснилось — наказал своей бабе истопить мне баню с дороги. Опять вошел и говорит:

— Пойду какую-нибудь рыбку обману.

И ушел.

Эту его последнюю фразу я тоже не сразу понял. Я был горожанином, мальчишкой лавливал рыбу. Но кто рассчитывал когда-нибудь на мой улов? Несколько раз удавалось уху сварить, а так все кошке. По крайней мере, моим родителям не пришло бы в голову посылать меня на реку, когда гость уже в доме...

Дальнейшие события все разъяснили.

Пока же я оказался один в избе, немного передохнул и огляделся. Минут через пятнадцать в сенях застучал умывальник, кто-то утерся полотенцем, и в избу вошла очень приветливая, моложавая и статная жена Ивана Терентьевича, с которой мы быстро разговорились и как-то сразу же подружились. Она уже все

знала — и зачем я приехал, и откуда, но обо всем еще раз внимательно расспросила меня, а потом повела в стопившуюся баню. Когда я вернулся, на столе уже была горячая уха.

Я знал, что пудожане любители чайку попить, а с чаем бывают перебои. Поэтому я привез из Ленинграда лучший чай, какой мог достать, и этим очень обрадовал хозяев. К ужину пришел мой единственный знакомый из тех мест — Никита Антонович Ремизов. Он оказался двоюродным братом хозяина. Допив чай, Иван Терентьевич запел былинку, но увидев, что я метнулся за бумагой и карандашами, остановил меня:

— Писать потом будешь. Не к спеху. Это тебе гостинец.

Гостинец был поистине щедрый — сводная былина об Илье Муромце. Иван Терентьевич, от которого уже дважды записывали, понял, что это работа не легкая, хотя и радостная. Поэтому со свойственным ему тактом он не стал бы меня, еще не отдохнувшего с дороги, тут же вовлекать в работу, но успокоить меня, показать, что приехал я не зря, порадовать меня ему, видимо, хотелось. И надо сказать, удалось.

Во городе как было ведь во Муромле,
Во селе как было во Карачеве,
Ну старый казак был Илья Муромеч,
Илья Муромеч ведь сын Иванович.
Седлал ён коня да нульку доброго,
Сиделко кладывал да ён на сиделышко,
Черкальско седло ён на верех кладывал,
Не ради ён красы-басы, а ради ён крепости,
А ради было силы богатырскую.
Как старый казак ведь Илья Муромеч,
А брал как ён копье да долгомерное,
За плеча кладывал ён тугой свой лук
И брал-то ён стрелочки каленый,
Каленый ведь стрелки начинены,
А палицы ён брал ведь сорок пуд.
Облатался как ён тут, обколчужился.
Старый казак Илья Муромеч

Садился тут ведь на добра коня.
Видли добра молодца ведь сядучи,
Не видли молодца поезжаючи
Из города как было ведь из Муромля,
Из села то еще было Карачева...

Мне кажется, что я и сейчас отчетливо слышу, как Иван Терентьевич пел в первый день моего приезда в Климово. Здесь не было той суеты, как в Петрозаводске, того многолюдья. Я не поглядывал на часы, чтобы не опоздать на очередное заседание, где нас ждали. Поэтому все встало на свои места. Я услышал былинку так, как ее надо было слышать. Это был голос неумолкшей истории, доносившийся из глубин XV или XIV века.

Былина — не музейный экспонат, который может веками лежать на полке, пока не понадобится. Она умирает вместе с людьми, ее знающими, если ее вовремя не подхватят, если кто-нибудь не захочет запомнить, потом спеть, а кто-то не захочет слушать.

Иван Терентьевич пел былинку любовно, он смаковал ее и был уверен, что доставляет мне истинное удовольствие. Это был отнюдь не археологический энтузиазм. И он оказался прав. Его былина не только очаровала меня тогда, она запомнилась мне на всю жизнь. Меня поразили ее спокойствие и слаженность, удивительное перетекание строки в строку, простота и завидная скупость поэтических средств. И вместе с тем монументальность. Я был очень молод, любил стихи и в какой-то мере знал поэзию, но меня всегда удивляло, почему стихи обычно дело юных или по крайней мере молодых? Почему многие люди с возрастом (профессионалы-поэты или литературоведы не в счет) перестают ими интересоваться, считают это занятие недостаточно серьезным, от нечего делать? И вот передо мной старый человек, умудренный жизнью, проживший нелегкую крестьянскую жизнь, очень спокойный и серьезный в каждом

своим движением. И вот его поэзия — и не только его — прожила не одну сотню лет изживением именно таких «пожитых», как говорят на севере, людей.

Этот вечер укрепил меня в моем будущем, помог мне совершить окончательный выбор и посвятить свою жизнь изучению фольклора, его собиранию и спасению от забвения.

Иван Терентьевич пел, слегка покачиваясь, поглядывая то на меня, то в низкое окошко перед собой. А за окном струилась старая деревенская дорога, виднелись избы по сторонам, а за ними стеной вставали леса. Не были видны, но представлялись озера, без которых Карелия немыслима. Я тогда впервые почувствовал, что былины можно по-настоящему услышать и понять только в избе, сидя на лавке у десятилетиями скобленного стола, в бревенчатом окружении стен, в соседстве с огромной русской печкой, когда пение прерывается только многоверстной тишиной леса, всплесками озерной волны и какими-то другими приглушенными деревенскими звуками. Вся эта столетиями повторявшаяся жизнь, бурная и тихая, простая и мудрая, породила все, что сейчас происходит с Иваном Терентьевичем и со мной. В своей неподвижности эта жизнь как будто лишена привычного нам в городах исторического движения. В действительности же она и есть история, отлившаяся в предельно определенные формы и осознавшая себя. С тех пор, когда я читал или слышал былины об Илье Муромце, мне виделся Иван Терентьевич, окно, улица, избы, лес, озера. Отсюда, именно отсюда отправлялся в свой богатырский путь Илья Муромец — любимец певцов былин.

Спев, Иван Терентьевич встал и, не слушая моих похвал, стал переодеваться, пора было на ночное дежурство на нефтебазу. Перед уходом постоял, потом тихо сказал Ремизову:

— Ну, Никита, ты тут недолго рассиживай, дай крещеному отдохнуть с дороги.

Никита в ответ встрепенулся:

— А что, Кирила из Ленинграда пешком шел? Небось, на пароходе!

— Ну-ну, ладно баять, а ты поди, поди...— И ушел.

Крепко дружившие, братаны были разными людьми. Это обнаружилось в первые же дни. Но я по-юношески полюбил их обоих. Иван Терентьевич был довольно высок, суховат, даже, пожалуй, жилист с рыжеватыми гладко зачесанными назад волосами и округлой бородкой. Никита Антонович — небольшого роста, кряжистый и очень подвижный, чернявый, с проседью на острой клинушкой бороде. Словоохотливый, ироничный, сметливый, острый в непрерывных затеях и выдумках. В деревне подшучивали над его цыганской чернотой. Он же сам распустил слух, что он и есть цыган, его, мол, в детстве на поросенка выменяли. На чей-то вопрос: а зачем же он тогда понадобился отцу с матерью, ведь своих детей было много,— он, не задумываясь, отвечал:

— Так ведь сначала детей не было, а как я пондравился, завелись.

Кто-то из односельчан не стерпел:

— Никита, не ври! У тебя два брата старших было.

— А они меня потом обогнали. Знаешь ведь, какой я неторопкий? — отвечал он посмеиваясь.

И всем было ясно, что это не ложь, а забава. Мужик ведь честнейший и добрый.

На следующий день мы начали записывать только к вечеру. Иван Терентьевич отдыхал после дежурства, а потом был занят домашними делами. Я не смел торопить его. Мне хотелось, чтобы он сам выбрал время для записи. Уже в Петрозаводске стало ясно, что для пения былин ему нужно определенное расположение духа. В первый вечер я попытался расспросить об изве-

стных ему сюжетах. Мне хотелось представить себе, сколько нам потребуется времени. Однако Иван Терентьевич неохотно отвечал на подобные вопросы. Или отвечал довольно неопределенно. Позже разъяснилось и это. Он считал невозможным петь плохо. Он не позволял себе, даже если его очень просили, спеть отрывок из полузабытой былины или тем более «словесно» пересказать содержание былины. Былину надо петь или не петь. Все время, пока я жил у него, он напряженно работал. В день приезда жена его рассказала, что он готовился к моему появлению. Кстати, это ее сообщение я не сразу понял, как же готовился, если при мне отправился рыбу ловить? Мне тогда и в голову не приходило, что она имела в виду былины. Я считал, что он и так знает их.

Эта сторона наших взаимоотношений открылась мне не сразу.

В один из первых вечеров в Климове, когда Иван Терентьевич отправился на ночное дежурство, я вышел посидеть у озера. Возвращаясь, встретил соседа:

— Что, Кирила, ходил слушать Ивана?

И тут он мне рассказал, что Иван Терентьевич все ночи напролет поет былины, но очень сердится, когда ему об этом говорят или приходят слушать. Гонит всех.

Я тут же тайком отправился к нефтебазе и, убедившись в том, что Иван Терентьевич действительно поет, уселся в укромном месте. Он пел мою завтрашнюю былинку. Я не успел к началу, но постепенно разобрал — пел он ее целиком. Спев до конца, помолчал минут десять, прислушиваясь к тишине и о чем-то размышляя, а потом стал пропевать (как в театре сказали бы «прогонять») отдельные пассажи. Прогоны были разных масштабов — то короче, то длиннее. Некоторые он повторял по два-три раза, как бы пробуя разные интонационные ходы, сочленения, переходы. Иногда что-то варьировалось в тексте, я не все улавливал, потому что он пел

то громче, то тише, иногда как бы совсем замирая. Молча ходил вдоль забора нефтебазы, потом опять садился и, подумав, заводил снова.

Мне сейчас очень трудно воспроизвести весь ход этой своеобразной репетиции. Помню, что повторявшиеся куски текста не были только «формульными» или только «переходными». Репетиция состояла не в зазубривании текста, это была скорее тренировка, отлаживание механизма формирования текста, который должен был окончательно возникнуть во время исполнения для записи, и способа его произнесения (или точнее пропевания). И, конечно, одновременно вокальная тренировка.

Я очень жалею, что не сохранились мои тогдашние записи. Они погибли во время войны. Может быть, я теперь смог бы точнее передать все, что происходило. В последующие дни я несколько раз повторял опасное подслушивание. «Опасное», т. к. надо было прятаться не только от Ивана Терентьевича, но и от его односельчан. Они, конечно, не преминули бы рассказать ему, чем я занимаюсь во время его дежурств. А мне меньше всего хотелось спугнуть певца. Я хотел записать наилучшие варианты текстов, а за репетициями следить тайно. Многим ли фольклористам удавалось наблюдать за сказителем, когда он наедине с самим собой произносил текст, который потом предстояло исполнить? Я уже тогда отчетливо понимал ценность подобного рода наблюдений. Когда я возвратился в Ленинград и рассказал об этих ночных эпизодах М. К. Азадовскому, А. А. Астаховой и А. Д. Сойманову (который уже начал работать над сборником «Былины Пудожского края», куда должны были войти мои записи от И. Т. Фофанова), они все меня дружно поддержали, решив, что Фофанова надо издать отдельно, а мои наблюдения — эти и иные — подробно изложить в предисловии. Издание это я начал было готовить, но оно не осуществилось,

в 1941 году началась война, изменившая все планы — личные, исследовательские, издательские.

Жена Ивана Терентьевича рассказывала, что до моего приезда подобные репетиции происходили не только во время дежурства, но при случае и дома, днем. Может быть, они продолжались и в лесу или на рыбалке. Смолodu — не решаясь петь на людях — он любил распевать в лесу или на озере, когда никто не видит и не слышит. Судя по всему, он испытывал наслаждение от этого пения для самого себя, но это не единственная причина, заставлявшая петь наедине. Другая и, может быть, важнейшая — восприятие эпоса как чрезвычайной ценности, а пения былины как дела весьма ответственного. Меньше всего он хотел или позволял себе «баловаться» былинами, забавляться ими, развлекать своих слушателей. Петь былины имеют право только умудренные жизнью старики, которым есть что рассказать. Подобным серьезным и вместе с тем трепетным отношением к былинному знанию объясняется и все, о чем я уже говорил: былины можно петь только хорошо, только с начала до конца, только при определенном душевном расположении и певца, и его слушателей. Петь надо не торопясь, обстоятельно и спокойно. Не случайно и былины, которые Иван Терентьевич пел, были почти сплошь героическими; былин новеллистического характера он знал мало, по крайней мере исполнял их неохотно.

Нельзя не признать, что все сказанное рисует совершенно определенную эстетическую систему, хотя, разумеется, Иван Терентьевич не формулировал ее теоретически: она существовала для него в унаследованном от его учителей отношении к эпосу и к отдельным былинам. Все это показалось мне тогда особенно интересным. В сказительском поведении Ивана Терентьевича я увидел не механическое извлечение из памяти «окаменелостей», а человеческую активность очень опреде-

ленного стиля и природы, теснейшим образом связанную с самим человеком, его свойствами и темпераментом. В Иване Терентьевиче, таким образом, мне посчастливилось встретить не только человека, умевшего петь традиционные былины, что для 30-х годов XX века было уже само по себе достаточно удивительным, но и тип истового сказителя русского эпоса. Вместе с тем это был первый в моей жизни мудрый старик, с которым мне удалось близко познакомиться и сойтись душевно. Можно себе представить, что это значило для меня тогда, девятнадцатилетнего юноши, увлекшегося старинной русской культурой.

О Пудожской былинной традиции писали несколько раз и собиратели, и исследователи фольклора. Первые исследования в известной мере устарели — мало было записей тогда. Например, А. Ф. Гильфердинг считал, что былины стали прививаться на Пудожском берегу довольно поздно, возможно, они проникали сюда с двух сторон — из Заонежья и из архангельского Кенозерья, которое на востоке граничило с бывшим Пудожским уездом. Подтверждение этому он видел в сходстве пудожской традиции и традиции соседних с ним районов. Но он, видимо, был не прав. За редкими исключениями, каждый, даже самый однородный по своей традиции район неизбежно имеет какие-то черты, сходные с соседними. В действительности Пудога, как ее раньше называли, производит довольно цельное впечатление, хотя, конечно, и здесь можно выделить отдельные гнезда — Шалу и окрестные деревни, Водлозеро, юг района, Купецкое озеро с прилегающими к нему деревнями и т. д. В недавнее время пудожская традиция подверглась еще раз тщательному и целостному изучению, которое теперь можно было осуществить на основе уже накопившихся фактов (записей П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга, отдельных собирателей конца XIX — начала XX веков, экспедиции середины двадца-

тых годов под руководством известных советских фольклористов братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых, экспедиции Карельского НИИ культуры и Ленинградского университета в 1938—1940 годах, Петрозаводского института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР в первые послевоенные годы и Московского университета в 50—60-е годы). Эти материалы отложились в известных фольклорных архивах Петрозаводска, Ленинграда и Москвы, частично опубликованы в сборниках «Онежские былины» Б. М. и Ю. М. Соколовых и В. И. Чичерова и «Былины Пудожского края» Г. Н. Париловой и А. Д. Сойманова.

В 1926 году собиратели не записывали от И. Т. Фофанова. Причины этого не выяснены с достаточной достоверностью — то ли они просто его не встретили, то ли в то время Иван Терентьевич еще не решался петь публично и по своей скромности не признался приезжим, что он что-то знает. Итак, после того как фольклористы начали записывать от И. Т. Фофанова, опубликовано два важнейших обзора пудожской традиции — предисловие Г. Н. Париловой и А. Д. Сойманова к названному выше сборнику (1941) и пока еще неопубликованное монографическое исследование Ю. А. Новикова «Эпическая традиция Пудожского края», защищенное им в качестве кандидатской диссертации в 1976 году. Естественно, что в обзорах (и в первом, и во втором) довольно много говорится о И. Т. Фофанове. Он называется в числе лучших исполнителей былин наряду с пудожанами Никифором Прохоровым (Уткой), Григорием Якушевым, Федором Конашковым, Андреем Сорокиным, Анной Пашковой и др. Авторы обзоров тем не менее расходятся в оценке И. Т. Фофанова как сказителя.

Составители сборника «Былины Пудожского края», правда с некоторыми оговорками, считают его прежде всего сказителем передатчиком. Ссылаясь на предложен-

ную А. М. Астаховой классификацию типов сказителей, они пишут: «Фофанов тоже стремится сохранить, если и не дословно, то почти дословно, известный ему текст» (стр. 29). Сравнивая Фофанова с И. Т. Рябининым, они признают, что Фофанов все же самостоятельнее в передаче текста, чем второй Рябинин, и сообщают в этой связи некоторые свои наблюдения, которые в конечном счете противоречат решительному заявлению о «дословной» передаче текста.

Ю. А. Новиков предпринял фронтальное и тщательное сопоставление текстов, записанных от И. Т. Фофанова, с текстами других пудожских и даже заонежских сказителей. Выводы его представляют большой интерес и очень хорошо согласуются с моими наблюдениями 1938 года и последующих предвоенных лет. Они состоят в следующем. Фофанов сообщил собирателям, что он учился петь былины у знаменитого в прошлом Никифора Прохорова — Утки. Он говорил: «Я был молод, лет 15... Он, Утка, был в нашей деревне, что-то делал, а я ходил к нему на беседу и эти былины понял...» Кроме того, он называл Т. Г. Блохина из Мелентьевской, сказителя менее известного. Однако, по-видимому, список его реальных учителей этими двумя именами не исчерпывается. Сопоставление текстов показывает связь их не только с вариантами Н. Прохорова, но и А. Сорокина, известного по записям П. Н. Рыбникова и оставшегося безымянным «шальского лодочника», и, наконец, Н. А. Ремизова. Конкретные источники некоторых былин И. Т. Фофанова, как пишет Ю. А. Новиков, «установить не удастся, но их местное (т. е. пудожское) происхождение не вызывает сомнения («Илья и Соловей»), «Илья и Калин», «Чурила и Катерина»)). В былине И. Т. Фофанова «Дюк» действие развивается «по кенозерскому образцу». Улавливаются некоторые переключки с повенецко-толвуйской традицией. Одним словом, складывается впечатление, что И. Т. Фофанов слышал

многих исполнителей. Молоду он вел полубатрацкий и бродячий образ жизни, хозяйством обзавелся, видимо, только в 1910—1911 годах, когда ему было уже лет тридцать девять — сорок. Поэтому все это кажется убедительным. С другой стороны, исполнявшиеся им былины как бы отлиты из одного куска, они очень едины в стилистическом отношении. При многообразии источников и учителей это можно объяснить только одним — воспринятые былины были, видимо, тщательно им переработаны в соответствии с его пониманием былинного стиля, законов построения сюжета, темпа развития действия, повествовательного этикета.

И. Т. Фофанов представлялся составителям пудожского сборника «передатчиком», т. е. сказителем-исполнителем, не проявляющим активной личной инициативы, потому что они соотносили тексты, записанные от него, с традицией в целом, а не с отдельными записями от пудожских сказителей. Личный вклад понимался ими как нарушение традиции или обновление ее, например, внесение реалистических деталей, психологических мотивировок, анахронизмов, новых эпизодов или даже изобретение новых сюжетов. Традиции противопоставлялось новаторство.

В этом смысле в былинах И. Т. Фофанова действительно трудно найти что-либо существенное. Они очень традиционны. Сказительская деятельность И. Т. Фофанова была не ломкой традиции, не нарушением ее, а ее продолжением, развитием, полноценным воплощением. Он был одним из представителей последнего поколения исполнителей русского былинного эпоса, однако его не затронул процесс вырождения традиции, ее разложения. В этом заключалась главная особенность И. Т. Фофанова и в этом его величайшая личная заслуга.

Конечно, и в этом он не был одинок. В его поколении исполнителей были блестящие мастера. Однако надо иметь в виду, что мастерство некоторых из них

поддерживалось научным и общественным интересом к их деятельности (так было, например, у Рябининых или у М. С. Крюковой), книгой (так было, например, у пудожанки А. М. Пашковой) или безудержной личной инициативой, в сочетании и с первым, и со вторым (так было, например, у М. С. Крюковой), либо игровым или артистическим переосмыслением традиции (так было у Н. А. Ремизова). И. Т. Фофанов ничего подобного не переживал. Он не искал стороннего поощрения, долго был известен только своим односельчанам: его первая встреча с фольклористами произошла, когда ему было уже шестьдесят семь лет. Его знание былин объясняется только любовью к ним, представлением (о чем мы уже говорили) о важности эпического знания. Поэтому я не ошибусь, если назову Ивана Терентьевича — крупнейшим и в то же время одним из наиболее естественных носителей традиции русского эпоса на последней стадии его развития.

В отличие от своего родственника и друга Иван Терентьевич не позволял себе превращать пение былин в развлечение, в спектакль. Он ценил знание былин Ремизова, но к его манере исполнения относился с неодобрением. Думаю, что ему временами казалось, что это очередная мистификация Никиты, что он только делает вид, что поет былины, а на самом деле иронически изображает, как некий певец пел бы былины.

Сам же Иван Терентьевич считал, что каждое исполнение былины — это событие. Поэтому не нужно никаких украшений, побрякушек, завитушек, ухищрений. Они и без того достаточно хороши и значительны.

Исследователи записей от И. Т. Фофанова — и А. Д. Сойманов, и Г. Н. Парилова, и Ю. А. Новиков — совершенно справедливо отмечают, что былинам его свойственна не только стилистическая выдержанность, но и простота и скромность, почти аскетическая сдержанность в построении сюжетов. Замечено, что Иван

Терентьевич в ряде случаев избавлялся от усложняющих эпизодов. Когда традиционные сюжеты оказывались сложнее, чем это казалось ему необходимым, он выделял из них наиболее выразительные части и разрабатывал как самостоятельные сюжеты. Так, например, в сложной и сказочной по своему характеру былине «Потык» он отсекает всю вторую часть сюжета, тем самым как бы и упрощая и проясняя его, делая его более эпическим, уводит его от сходства со сказкой. В первой части этой былины богатырь Потык женится на Марье Лебедь Белой и дает зарок умереть с ней в один день. Когда Марья действительно умирает, он просит похоронить его вместе с ней. В могиле он сражается со змеей, приползшей сожрать похороненных, побеждает ее и приказывает змее добыть мертвой и живой воды. Так ему удается оживить любимую жену и вернуть ее к жизни. Таким образом, фантастическая любовная история приобретает героический характер, в центре оказывается типичный богатырский эпизод — сражение с Чудищем. Вторая часть этого сюжета, известная нам по записям от других певцов, в том числе и пудожских, совершенно отбрасывается Фофановым — в ней обычно рассказывается о неверной Марье. В этой части сюжета фигурируют и другие фантастические и авантурные эпизоды. После записи этой былины Иван Терентьевич признался (об этом написано в комментарии к «Былинам Пудожского края»): «Петь мне ю не понравилосе. Идно подходит, идно не подходит. Больше мне по нраву про старого казака Илью Муромча». Однако он ее все-таки пел, но в сильно переработанном виде. Так же он поступил и с «Дюком». Его интересовало преимущественно героическое, поэтому от эпизодов не только сказочных, но и от новеллистических он стремился освободиться, очистить от них былинные сюжеты. Тем самым он как бы вступал в единоборство

с процессом выветривания героического, характерным для последнего периода бытования русского эпоса.

Собиратели давно заметили, что к концу XIX— началу XX веков стало изменяться соотношение героических сюжетов и сюжетов приключенческих, любовных, бытовых. Последние возникли, по-видимому, позже основного слоя былин и были связаны со стремлением представить жизнь богатырей во всех человеческих ее проявлениях. Распространенность, а потом и преобладание таких не героических былин, по-видимому, были свидетельством изживания эпической традиции в целом. Характерно, что с течением времени среди исполнителей былин встречаются все больше женщины. Новеллистические сюжеты, видимо, были им ближе, чем традиционные и более древние героические. Былина по своему сюжетному составу как бы сближалась с балладой, романсом, любовной песней. И только наиболее «истовые» певцы былин, наиболее строгие, стремившиеся к сохранению «чистоты» былинной поэтики, отчетливо осознавали неизбежность этого процесса и стремились воспрепятствовать ему. Мы уже говорили о героических тенденциях в исполнительской деятельности старшего Рябинина — Трофима Григорьевича. Теперь мы встретились со сходным явлением, только в значительно более позднее время. Если Т. Г. Рябинин известен нам преимущественно по записям 60—70-х годов прошлого века, то И. Т. Фофанов — по записям 30-х годов нашего века, т. е. на шестьдесят — семьдесят лет позже. В этом, видимо, и состоит историческое значение И. Т. Фофанова и его подлинная роль в последнем поколении исполнителей русских былин.

Наши записи начались на второй день после моего приезда в деревню Климово. Происходило это очень организовано, почти торжественно. Причем организатором и дирижером всегда был сам Иван Терентьевич. Он выбирал время, когда ничто не могло помешать, и ста-

рался, чтобы былина вся была записана в тот же день. Это было не всегда легко — его тексты длинные. В былине «Про Илью Муромца» — четыреста двадцать пять строк, «Про Добрынюшку Микитинца» — пятьсот двадцать четыре, «Про короля литовского» — четыреста шестнадцать и т. д. Но даже если очередной оказывалась сравнительно более короткая былина и можно было начинать следующую, он всегда отказывался петь. Другая былина, другое настроение. Я понял это и перестал его торопить.

Иногда были перерывы другого рода. Я теперь не помню точно рабочего расписания Ивана Терентьевича, но, видимо, между дежурствами были какие-то свободные дни. Мы отправлялись на рыбалку, в лес за ягодами или грибами или просто отдыхали. Если случался Никита Антонович Ремизов, то инициативу в разговорах перехватывал он, Иван же Терентьевич помалкивал и посмеивался. Но иногда он вдруг отстранял Никиту и спокойно и тихо о чем-то вспоминал. Было это обычно на привалах, в часы отдыха или еще чаще перед сном. В дороге или между делом он разговаривать не любил. Должен покаяться, что внимание мое раздваивалось, я был молод и меня волновала не только уравновешенная мудрость Ивана Терентьевича, но и балагурство Никиты Антоновича. Старики любили друг друга и никогда не ссорились, разве только в шутку. Они очень удачно дополняли друг друга. Жаль, разумеется, что обширный репертуар Н. А. Ремизова остался в значительной мере не записанным, но в то же время я упрекаю себя и за то, что меньше чем мог бы слушал рассказы и рассуждения Ивана Терентьевича. С возрастом я чувствую это все острее.

О чем же рассказывал Иван Терентьевич? К сожалению, я не могу воспроизвести наши беседы с достаточной точностью. Тогда я записывал не все и, конечно, не сразу, а на следующий день и обычно во время сна

или дежурства Ивана Терентьевича. Иногда я о чем-то расспрашивал его или каким-то способом провоцировал разговор, переводя его на интересующие меня темы. Иногда это был более или менее связный рассказ, иногда просто свободно развивавшаяся беседа. Я старался направлять разговор на воспоминания о его собственной жизни, встречи со сказителями старшего поколения, механику запоминания былинного текста и, что мне тогда казалось очень важным, на рассуждения о богатырях вне былины, вне текстов, которые я уже записал или собирался записывать. Некоторое представление о такого рода воспоминаниях может дать рассказ, записанный мной тогда и опубликованный в 1941 году в сборнике «Былины Пудожского края». Кроме нескольких цитат из моих дневниковых записей в предисловии и комментариях к этому сборнику, это единственная уцелевшая запись от И. Т. Фофанова, поскольку она была напечатана¹. Не могу не привести ее.

¹ Кстати, по-видимому, сохранилось весьма ограниченное число экземпляров этого сборника, тем более что тираж был не столь велик — 10 000 экземпляров. Сборник был отпечатан и направлен в книготорговую сеть в последние дни перед началом войны. Один из его составителей Алексей Дмитриевич Сойманов рассказал мне об удивительном переживании, связанном с этой книгой. Он был студентом филологического факультета Ленинградского университета. Окончил его в 1939 году и после этого два предвоенных года работал в Карельском научно-исследовательском институте культуры в Петрозаводске. В это время и была завершена подготовка к печати сборника, начатая еще в университете. Потом сборник редактировался, был набран, читалась корректура, сигнальный экземпляр и т. д., одним словом, книга эта была основным содержанием его научной жизни последних предвоенных лет. Когда началась война, А. Д. Сойманов знал, что книга вышла в свет, у него был уже один экземпляр ее, но в продаже он ее не видел. По крайней мере она не продавалась еще в Петрозаводске, где он встретил первый день войны. Кажется в 1942 году, судьба забросила его на одну из маленьких станций в Вологодской области. Именно «забросила», т. к. на эту станцию он с высокой температурой был привезен санитарной машиной и сдан в расположив-

Иван Терентьевич рассказал: «Жизнь моя была така беспокойная. Отец жил у меня 80 годов. Сперва ён крестьянствовал. Характером был не очень важный. Стрóжил нас да вино попивал. Мать была другая (т. е. мачеха.— К. Ч.) — так и худá. С отцом, как с чертом, дрались не дрались, но выходили нелепости. При старом праве ведь, что отец задумал, то и вышло... Я шататься и пошел...

В кончи-коньчов я вырос порядочно, поженился, отделился. Под последу (т. е. в последние годы жизни.— К. Ч.) ён, отец-то мой, с корзинкой ходил (т. е. нищенствовал.— К. Ч.). Меня ён откинул и тупйчку¹ не дал, лошадь продал, коровку прожил, сам и пошел с корзинкой.

Дом мне отец не дал. Я так лет 40 жил, не имел шубы на себе на плечах. Ходил грузил суда в Шалы, пилил дрова, по осеням плотничал, пилил тесовой пилой. Жизнь вот кака была...

Потом жил у озера, заправил снасти, ловил рыбу. Рыбка попадалась миленька така, хорошенька. Мер по

шийся там полевой госпиталь. Его поместили в одну из изб местных жителей, занятых под палаты. Придя в себя, он стал осматриваться, понял, что попал в госпиталь и попытался вспомнить, что было с ним в предыдущие дни. Взгляд его случайно обратился к стене, и тут ему показалось, что он бредит или сошел с ума: стена была оклеена страницами из «Былин Пудожского края», которые он знал наизусть. Позже выяснилось, что санитары, оборудовавшие избы под госпиталь, нашли на станции около тупика покрытую брезентом кучу книг, видимо, сваленную здесь впопыхах, чтобы освободить вагон. За неимением не только обоев, но и газет, для «палат», нуждавшихся в ремонте, решили употребить попавшиеся под руку книжки, старательно расшили их и оклеили ими несколько изб. Остается предположить, что это была только часть тиража, отправленная из Ленинграда, где книга печаталась, в Петрозаводск, а может быть, и в какие-то другие города. Поистине, как говорили древние, «habent sua fata libelli» — т. е. «книжки имеют свою судьбу!»

¹ Тупой топор для колки дров, колун.

50 вылавливал. Поработал у крестьян, у богачков у справных. Косил с бабкой, детей растил. Прископилось детей пятеро, потом двое померло. В домике жил худом. Сперва пас лет 12 коней, в лисях стоял. Был в кониных пастухах.

Случился раз такой. Коней согнал на лядину¹. А в лесу мне была избушка: я в ней жировал, спасался. Так по утру выпустил я коней. Ушли ёны на лядину. Кони ведь не коровы. Я пошел след за ими, потрубел им, да придумалось мне на лапти береста драть. Кони идут под горку, я по горке. Смотрю на конях моих в стаде два зверя сидят, дерут. Один тихой; этот ни шуму, ни грому, и кони не пугаются. А конь под им стоит стоем еще. Это медведя́ были большие. Я разй́лся к коню:

— Коня съедите, так и меня съешьте!

С топором пошел. Один убег, а другой коня не спускает с лап. Я топором хотел тюкнуть, а ён с коня свернулся, коня спустил и на меня. Я отскочил. Зверь опять хотел на коня. Я на зверя. Ну тогда он в лес и утек. Вот себе какая оказия была...

Потом дити подросли, так я стал пахать порно (т. е. помногу.— К. Ч.). Пожалуй, на год стал напахивать². Заправил лошадь хорошую. Две коровы. Потом, знаешь ты, и дом выстроил, хоть и этак, и некультурный, но по-деревенски важный. Переписали меня середняком из бедняков. Сыновья — один счетоводом был четыре года, теперь командир в Красной Армии. Другой теперь тракторист. Да... Сынов обучал я плохо. Ёны сперва ходили, грамоты учились, но ходить ведь не в чем было. Один проходил года полтора, а второй с два. Но были не балованные, учились хорошо. Еще сейчас повинуются, слушаются. Записались в колхоз. Не сразу пошли

¹ Лесной перелог.

² То есть хлеба стало хватать на год.

(после двух лет). Старший сын говорит: пусть... посмотрим, как живут, а потом смотрим — ничего, важно.

Сторожем пять месяцев был в МТС. Сторожил шестерни (т. е. цистерны.— К. Ч.). Керосин был залит, игроин (лигроин.— К. Ч.) да горючее. Вот это место и охранял.

В Петрозаводском был полдесяток раз. Не видели при старом режиме ничего интересного. При Советской власти второй раз. Так вижу и все не так. Вот в театре был, так такое и во снах никогда не приснилось бы. Много и понастроили нового. Вот что нунь происходит в городе, в Петрозаводском».

Перечитывая сейчас эту запись, вижу, что она была результатом специального расспроса — надо было записать автобиографию. Судя по всему она была сделана в Петрозаводске во время конференции, в одну из первых наших встреч. Запись эта кажется мне суше наших обычных разговоров. Хотя и здесь можно выделить прекрасно рассказанный эпизод — нападение медведей на коней, которых пас Иван Терентьевич. Рассказывая об этом случае, он почувствовал себя свободнее, оживился, но потом вспомнил, что я его, собственно, не об этом просил. Характерно и другое: даже за наиболее деловыми фразами, которые были прямыми ответами на мои вопросы, чувствуются размышления и нравственные оценки. Думаю, что я не преувеличу, если скажу, что даже по этому отрывочному и довольно сбивчивому рассказу можно понять, что повествует о себе человек, не только проживший жизнь, но много раз обдумывавший ее. Если я преувеличиваю, то прошу помнить, что я, читая эту запись, не могу не воспринимать ее на фоне моих воспоминаний о тогдашних встречах и о давних беседах. Однако, чтобы не упустить главное, я ведь вспоминаю и должен вспомнить об Иване Терентьевиче не только как о человеке, но как о певце былин. Попробую восстановить кое-что из наших бесед на эпические

темы. Это довольно трудно. Я точно помню только некоторые фразы, но смысл их был тогда для меня столь неожиданен и впечатляющ, что исказить его не могу. Поэтому не буду внушать читателю иллюзию протокольного воспроизведения наших разговоров в 1938—1940 годах, то есть без малого почти сорок лет тому назад. Буду передавать только общую суть.

Иван Терентьевич, как выяснилось, знал о богатырях и о былинах не только из устной традиции. Он видел какие-то картинки — то ли лубочные, то ли книжные иллюстрации или репродукции картин на богатырские темы. Помнится, я пытался поточнее выяснить, что же это были за рисунки, но безуспешно. Он видел их еще в юности или ранней молодости — один раз у кого-то в Гакуксе, а другой раз в Шале. Узнав, что прохожий человек показывает их местным мужикам, специально поспешил туда. Это оказался портной, а не просто прохожий, поэтому застать его было не мудрено. Иван Терентьевич прожил в Шале несколько дней и хорошенько рассмотрел картинки. В Гакуксе он видел изображение Добрыни Никитича, сражающегося со змеем, а в Шале — несколько картинок об Илье Муромце. Кроме того, тоже еще в молодости, он ездил в Петрозаводск, и там кто-то показал ему книгу, в которой были напечатаны былины. Что это была за книга, Иван Терентьевич объяснить не мог, но он помнил, что дело происходило на Соловецком подворье, недалеко от пристани. Когда мы с Иваном Терентьевичем второй раз оказались вместе в Петрозаводске (уже после того, как я побывал у него в Климовой), он сводил меня на Соловецкое подворье.

И картинки, и книжка с былинами (хоть он не мог ее читать!) произвели на него сильное впечатление. Дело не только в каких-то деталях вооружения, одежды, конской сбруи и т. д. — все это тоже было для него очень важно, — дело даже не в возможности увидеть

изображение самих богатырей. Важнее было другое, если это напечатано и изображено на бумаге, значит бесспорная правда. Бумага существует, чтобы изображать то, что было на самом деле. Это документ. Да и откуда художник нарисовал бы Илью или Добрыню, если бы не видел их? Возможность вымысла совершенно им не допускалась. Сказать, конечно, можно все что угодно. Есть такие люди, что наврут с три короба, только поверь им. Спеть, в конце концов, тоже можно даже шуточную песню. Но ведь это нарисовано, значит это было! Очень важен был и факт книжной публикации былин. Человек неграмотный, Иван Терентьевич был преисполнен глубочайшего уважения к печатному слову. Он был неколебимо уверен в том, что печатать пустяки не станут. (О, если бы это было в действительности так!) Ученые люди (а книжки ведь печатают именно ученые люди, кто же еще?) знают, что былины — дело важное, а не детские потешки. Эти три случая — в Гакуксе, в Шале и в Петрозаводске крепко запомнились Ивану Терентьевичу. Не было никакого сомнения в том, что они сыграли весьма важную роль в формировании его эпических представлений. Он с детства слышал и интересовался былинами и пробовал их петь, никому не сказываясь, но его, видимо, неотступно мучал вопрос — насколько можно доверять былинам, достоверен ли их рассказ. И вот нашлись неопровержимые доказательства того, что интерес его к былинам не напрасен.

Позже, уже в советское время, в конце 20-х или начале 30-х годов, когда школьные учебники появились в каждой крестьянской избе, Иван Терентьевич часто видел иллюстрации к былинам по Васнецову и Билибину. Прошло еще несколько лет, и самим Иваном Терентьевичем заинтересовались фольклористы. Судя по всему, его не удивлял интерес «ученых» людей к былинам. Он был вполне подготовлен к такому пониманию вещей. Он считал вполне закономерным, что с распространени-

ем грамотности люди снова смогут оценить былины. Вот в какой неожиданно исторической перспективе рисовался ему мой приезд в деревню Климово!

Надо сказать еще и о том, что сложившийся постепенно на протяжении многих лет способ понимания былин и их исторической судьбы был поддержан тогдашней печатью и радио. Слова «героическое прошлое», «родина», «защита отечества», «советские богатыри-воины», «соколы-летчики», «богатыри Арктики» не сходили в тридцатые годы со страниц газет и в сознании Ивана Терентьевича, любившего послушать газетку, сочетались с характерным для того времени интересом к фольклору, сказителям, фольклорным стилизациям на современные темы и другими характерными явлениями общественной жизни предвоенных лет.

Однако возникает вопрос (да и тогда возникал он, и это отразилось на наших беседах с Иваном Терентьевичем), как же мог все-таки он согласовывать свою психологию человека XX века с верой в подлинность богатырей, побеждающих в одиночку целое войско татар, размахивающих палицей в «девяносто пуд» и т. д.?

Как я и ожидал, у Ивана Терентьевича и на этот вопрос был ответ давно продуманный и весьма логичный, хотя, разумеется, и не выдерживающий научной критики. Богатыри неправдоподобны, но это, считал Иван Терентьевич, только так кажется, т. к. мы знаем нынешнюю жизнь. Но когда-то в старое время богатыри безусловно были. Иначе кто бы спас Русь от татарского нашествия? Тогда, при той жизни, существование богатырей было не только возможно, но и необходимо. Оно было возможно, потому что жизнь была гораздо более правильной и нравственной. Позже жизнь утратила первоначальную справедливость, баре придумали крепостное право, купцы стали безобразничать и людей притеснять, придумали пожизненную военную службу, стали случаться частые войны, появились такие свире-

ные цари, как Иван Грозный, в лесах завелись разбойники, а хлеб стал родиться хуже, рыбы стало меньше, дичи в лесах тоже. От общей безнравственности жизни перевелись и богатыри. Люди стали слабее, трусливее, стали больше надеяться на хитрость, чем на силу и победу в прямом бою. Однако не все еще потеряно. Если жизнь удастся сделать лучше и справедливее, могут опять появиться богатыри или какие-то справедливые и сильные люди, которые будут побеждать.

Я уже говорил о том, что я не могу сейчас восстановить отдельные беседы и вспомнить, в каких выражениях формулировалась та или иная мысль, в памяти всплывают только отдельные фрагменты. Я пересказал суть идей Ивана Терентьевича своими словами, или даже точнее, своими теперешними словами, но общий смысл был именно таков. В сознании Ивана Терентьевича переплелись эпическая традиция и его собственный опыт. Сейчас очень трудно выделить, что он слышал от своих учителей — знатоков былины — и до чего додумался сам. Но это не так и важно. Усвоенные представления и собственное умозаключение были для него одинаково своими. И для меня Иван Терентьевич был не просто личностью, индивидуальностью, а представителем многовековой и великой традиции, к которой я тогда впервые прикоснулся. Я понял, что традиция былин, которую представляет Иван Терентьевич, существует не по инерции, как это часто следовало из работ фольклористов, с которыми я в те годы начал знакомиться, она органическая часть духовной жизни ее носителей, она им нужна, ими переживается и передумывается, над ней размышляют, о ней спорят, она отвергается или принимается. Эта умственная деятельность исполнителей былин (как, впрочем, и других жанров фольклора), к сожалению, остается мало известной исследователям, ее заслоняют тексты, которые мы получаем при записи. Конечно, разные исполнители пережива-

ют традицию по-разному, в меру своего дарования, склонностей, темперамента. Когда я это понял, Иван Терентьевич стал для меня не просто человеком, хорошо умевшим исполнять былины, а художественно одаренной натурой, мудрым человеком, всю жизнь размышлявшим над великим наследием, доставшимся ему от предшественников.

И второе — высота нравственной оценки жизни, нравственная суть его исторических и эпических воззрений. Она давала ключ к пониманию многих особенностей психологии русского крестьянства. Мне стало яснее, чему именно учился у крестьян Лев Толстой. При всей исторической наивности пересказанной выше эпической концепции, она обладает очень высокой человеческой ценностью. Общение с Иваном Терентьевичем помогло мне позже понять и Ирину Федосову, и Трофима Рябинина, и других их земляков, мастеров русского фольклора. Во вступлении к этой книге я вспоминал, как еще в школьные годы впервые слышал некоторых из них, как они оживили для меня мертвевшие в школьных учебниках и хрестоматиях фольклорные тексты, помогли понять пение былин и рассказывание сказок как процесс переживания их, обладающий несомненной подлинностью и ценностью. Встречи с И. Т. Фофановым научили меня видеть во всем этом не просто некую артистичность, а живые связи с тем бытом и той культурой, наследниками которой они были. Поэтому без всякого преувеличения могу сказать, что вместе с С. Я. Маршаком, с которым моя щедрая судьба свела меня еще в детстве, и моими университетскими учителями, я всегда называю Ивана Терентьевича в числе людей, которые оказали сильнейшее влияние на всю мою жизнь.

Месяц, прожитый у И. Т. Фофанова, был напряженным и интересным и поэтому показался коротким. Почти ежедневные записи, которые отнимали значительную часть дня, лов рыбы на Тягозере, соединенном

с Купецким озером протоком. Ночевка у костра, которая тоже запомнилась на всю жизнь, и вот уже подошел прощальный вечер. Записи упакованы, карандаши убраны, мы просто беседуем. Теперь мы уже совсем друзья, и трудно поверить, что год тому назад мы не были знакомы. Однако прежде чем рассказать об отъезде, не могу не вспомнить еще о двух эпизодах, памятных мне с тех пор.

Один из них связан с ночевкой во время рыбалки на Тягозере, куда мы поехали с Иваном Терентьевичем и его другом Никитой Антоновичем. К вечеру мы пристали к мысу, на котором стояла «фатерка» — небольшая избушка для рыбаков и охотников. Но мы ночевали не в ней, а около костра, на нем сварили уху, вскипятили чай. Костер горел всю ночь, его дым отгонял комаров, которых в этих местах довольно много. Костер — это два сухостойных бревна, положенных друг на друга крестом таким образом, чтобы снизу оставался зазор для тяги. По мере сгорания бревен мы сдвигали их друг на друга. После ужина, немного побеседовав, улеглись спать. Утомленный за день обилием впечатлений и веслами, я довольно быстро заснул. Весь день я старался трудиться как можно больше. Старики тактично отстраняли меня то от дорожек, то от весел, то от сети, но моя мальчишеская честь не позволяла мне отставать от них и, конечно, к вечеру я сильно устал. Поэтому заснул быстро. Проснулся я ночью, когда Никита Антонович подправлял бревна в костре. А может быть, меня разбудила очередная атака комаров. За ночь направление ветра изменилось, и пришлось перебраться на новое место, где потеплее и комары не так донимали. Проснулся и Иван Терентьевич. Он помог Ремизову справиться с костром, выбрал себе место поудобнее и улегся, завернувшись в куртку. Я стал засыпать и уже сквозь сон услышал тихое пение — Иван Терентьевич напевал былинку. У меня захватило дух. Пер-

вое, о чем я подумал: «Совсем как Рыбников на острове!» Боясь спугнуть певца, я лежал и думал о людских судьбах, о книгах, о моем будущем. А Иван Терентьевич пел все тише, пока совсем не замолк. На этот раз это была не репетиция, не пение для записи или других людей, а привычное бормотание перед сном. Привычное!

На следующий день я убедился в том, что Никита Антонович тоже слышал это пение. Когда мы встали и пошли умываться, Никита Антонович прокричал:

— Смотри, братан, не свались в воду!

— А что я должен свалиться?

— Не выспался, небось, всю ночь ведь старины тянул, никак до конца не мог дожить...

— Подь-ка ты, приснилось что ль тебе!

Никита Антонович несколько раз принимался поддразнивать, но безуспешно, Иван Терентьевич не помнил о своем ночном пении.

Второй эпизод спровоцировал одну из тем нашей экспедиции 1940 года, и, более того, имел значительное продолжение. Убедившись в том, что привезенный мною чай оказался весьма кстати, я написал в Ленинград своему другу и попросил срочно послать еще небольшую посылку. В один из последних моих дней на Купецком озере почтальон принес извещение. За посылкой надо было идти в деревню Авдеевскую за несколько километров от Климовской, но тоже на Купецком. Я решил, чтобы не терять рабочее время записи, сразу же отправиться туда, пока Иван Терентьевич отсыпается после дежурства. Возвращаюсь — Иван Терентьевич только что встал. Он не знал еще ни о почтальоне, ни о посылке и был удивлен, что меня нет. Когда я вошел в избу, он сидел на лавке у печи и обувался. Я сразу же рассказал, где был.

— Что же, ужель на почту успел?

— Успел, успел, — отвечаю, — вот и посылка. С чаем будем.

— Ишь ты, прыткой какой, быстрой, как Рахой на лыжах!

Я немедленно стал расспрашивать, что он слышал о Рахкое или Рахте из Рагнозера. Из университетских занятий я знал об очень редкой и специфической «коло-нецкой» былине о Рахте и о еще более редких преданиях о нем, записанных одним из краеведов в XIX веке. В этом предании рассказывается о мужике Рахкое, первом жителе на Рагнозере — небольшом озере в двух-трех десятках километров от Купецкого. Рахой отличался необыкновенной силой. Слух о нем дошел до Москвы, и царь позвал его для того, чтобы он померялся силой со столичными борцами. Рахой одолел их и получил в награду право на Рагнозеро, на владение самим озером и угодьями вокруг него без даней и пода-тей, на житье без барина, без воинской службы, без воевод и приказчиков. Когда-то русские мужики именно ради этого и покидали плодородные земли южной и центральной Руси и уходили в глушь северных лесов на камни, пески и болота. Предание о Рахкое, по-видимому, возникло довольно поздно — не раньше XVI—XVII века — и отражает тот этап, когда мужикам уже и в северных лесах приходилось мечтать о свободе, о воле и земле.

В других преданиях о силаче с Рагнозера рассказывается о том, как он приобретал и терял силу, об измене жены, о столкновении с разбойниками и их атаманом. В некоторых из них разбойники называются «панями» (явный отзвук Смутного времени начала XVII века, когда по Северу бродили отряды разбитых в центральной России польско-шведских войск). Одним словом, предание очень интересное, известное только в этих местах, но вместе с тем очень характерное, яркое, типично севернорусское. В последующие дни я сделал еще несколько записей предания от Н. А. Ремизова и других жителей ближних деревень, а еще через

год Пудожская экспедиция во главе с А. Д. Соймановым, продолжавшая собирать материал для сборника, специально отправила мой отряд на Рагнозеро и в другие деревни между Водлозером и Купецким для записи преданий. Искали и записывали их и в других частях Пудожского района. Собралось довольно много материала, но систематическим исследованием его я смог заняться только в середине 50-х годов. В сборнике к Международному конгрессу славистов в Москве в 1958 году была напечатана статья «Былина о Рахте Рагнозерском и предания о Рахкое из Рагнозера», а в 1959 году в «Трудах Карельского филиала АН СССР» — тексты преданий («Материалы к изучению былины и предания о Рахкое из Рагнозера»). Вместе они составляют целую книжечку. Родилась она, так же как и несколько работ на этот же сюжет, которые за ней последовали (В. В. Пименова, Ю. И. Смирнова), из нашего первого разговора с Иваном Терентьевичем в тот день, когда я принес из Авдеевской посылку с чаем.

Накануне моего отъезда из Климовой мы решили отпраздновать отвальную. Хозяйка напекла и наварила. Я принес из магазина вино. Пришел Никита Антонович, его жена, а потом собрались и соседи. После сравнительно короткого застолья и взаимного потчевания все вместе попели песни, а потом началось настоящее состязание. Не только И. Т. Фофанов и Н. А. Ремизов, которые, прощаясь со мной как хозяева, спели на прощанье одну из полюбившихся мне былин, но и их односельчане, со многими из которых я успел сдружиться, старались что-то вспомнить и исполнить для меня: женщины — песню, мужчины — былинку или какую-нибудь мужскую песню (солдатскую, бурлацкую, ямщицкую) или сказку. Среди них были и замечательные исполнители, такие как сказочники Болотов или Юлигин.

Не следует думать, что в своем знании былин Иван Терентьевич был одинок. Я тогда насчитал в деревнях вокруг Купецкого озера человек восемь-десять мужчин и женщин, знавших по крайней мере по одной-две былины. А. Л. Фадеева из деревни Ижгора исполняла в те годы пять былин. Сказки знали многие, а еще большее число жителей этих деревень знали старинные песни. Большинство старых женщин умели причитывать. Вместе с тем почти все они не выделяли себя, не считали, что им должно быть оказано особое внимание. Признанными исполнителями былин были только И. Т. Фофанов и Н. А. Ремизов и, может быть, еще А. Л. Фадеева, признанными сказочниками — тот же Ремизов и Болотов. В последний день снова прозвучала одна из замечательных былин Ивана Терентьевича об Ермаке Тимофеевиче. И. Т. Фофанов знал, что она меня особенно заинтересовала. И не только своими поэтическими достоинствами. В редакции, записанной от него, как бы получает свое полнокровное завершение превращение исторического Ермака Тимофеевича, казачьего атамана, сыгравшего большую роль в истории продвижения русских в Сибирь, в киевского богатыря. Ермак в этой былине оказывается младшим богатырем, который совершает свой подвиг, когда старших богатырей в Киеве не случилось, а на город напали татарские полчища. Ермак изгоняет татарского хана Калина из хором князя Владимира, а затем едет в поле, где стоит татарское войско.

Ехал Ермак на добром кони.
Ехал на гору ён высокую,
На шелома поехал ён искатни,
Смотрел ён в трубоньку подзорную,
Смотрел ён в тую сторону восточную
На рать на силу на великую...
Тут Ермак Тимофеевич пораздумалсе:
— Не честь-хвала мне будет молодецкая
Бить эта сила мне-ка с краю ведь,

А поеду я в самую серединочку,
В рать-силу великую.

Он бросается в бой, и рать вражеская побеждена. Былина кончается встречей Ермака с Ильей Муромцем. Как и в других былинах, оценка Ильей подвига, совершенного другим богатырем, братание с Ильей, слово Ильи — самые важные мерки достоинств богатырей. У Ивана Терентьевича редкая былина обходилась без Ильи, в этом одна из особенностей его былинного наследия.

К сожалению, далеко не все, что знали в тридцатые годы жители Купецкого, удалось записать. В предвоенные годы предполагалось после сборника былин начать подготовку к изданию пудожских сказок, но этому помешала война. В послевоенные годы изучение района продолжалось. В конце 40 — начале 50-х годов там неоднократно бывала А. В. Белованова (Щемелева), а с середины 50-х годов несколько лет подряд в район выезжала экспедиция студентов Московского университета под руководством известной фольклористки Э. В. Померанцевой. Собрано довольно много самых разнообразных материалов, но они до сих пор почти не публиковались. В последние годы экспедициями под руководством А. П. Разумовой записано много сказок.

Записи 40—70-х годов заметно обогатили представления фольклористов о традиции Пудожья, однако столь крупных сказителей, как в 20—30-е годы (Г. А. Якушев, И. Т. Фофанов, Н. А. Ремизов, Н. В. Кигачев, А. М. Пашкова, Ф. А. Конашков, Е. С. Журавлева, А. Т. Конашкова и др.), уже не было обнаружено. Именно поэтому я и говорил о том, что И. Т. Фофанов был одним из крупнейших и наиболее «истовых» представителей последнего поколения сказителей. Собственно, то же самое можно сказать о нем в масштабе всего Русского Севера и даже в общерусском масштабе.

Перед отъездом я еще раз пересмотрел тетрадки с записями. Итог оказался довольно внушительный. Всего от Ивана Терентьевича было записано восемнадцать былин и так называемых старших исторических песен. По числу былин, которые он исполнил, он вставал в один ряд с П. И. Рябининым-Андреевым, Ф. А. Коначковым, А. М. Пашковой и М. С. Крюковой. По качеству же исполненного с ним могли конкурировать только первые два. Кроме того, в моем рюкзаке оказались отдельные записи от Н. А. Ремизова (остальные его былины были записаны Е. П. Родиной и Г. Н. Париловой), от Болотова и других односельчан Фофанова. И, наконец, на дно моего рюкзака легла объемистая тетрадка с ежедневными записями наших бесед и моих наблюдений.

В 1939 и 1940 годах мы еще несколько раз виделись с Иваном Терентьевичем. В 1939 году он приезжал в Ленинград по приглашению М. К. Азадовского для пения былин студентам, слушавшим курс русского фольклора. Потом мы снова встретились в Петрозаводске, а в 1940 году я еще раз побывал в деревне Климовой, правда, недолго, мой маленький отряд, состоявший из Ю. М. Агулянского, Б. Е. Марголис и меня (все трое тогда студенты филологического факультета Ленинградского университета), завернул на пару дней в Климово под конец экспедиционной поездки по северо-восточной части Пудожского района. Особенно интересны были встречи в Ленинграде и в Климовой.

В Ленинграде И. Т. Фофанов провел несколько дней. Естественно, что М. К. Азадовский просил меня «пошефствовать» над ним в это время. Собственно просить меня было незачем, я и так не отходил от Ивана Терентьевича. Он пел за эти дни много раз — в университете для студентов и преподавателей, во Дворце пионеров, в Доме писателей, дома у Марка Константиновича Азадовского, дома у меня, в школах, в Институ-

те русской литературы АН СССР. Я помогал ему выбирать былины для пения, рассказывал ему, кто его будет слушать, сопровождал его в поездках и походах по Ленинграду. Время его заранее было расписано, и я должен был напоминать, где ему предстоит выступать и когда. Это каждый раз возбуждало встречные вопросы с его стороны: кто будет его слушать? сколько человек? как долго он должен петь? будет ли еще кто-нибудь петь или говорить? и т. д. Это было ему очень важно и, что самое интересное, он проявил при этом неожиданную гибкость. Он готов был петь и дольше и короче, только ему надо было знать об этом заранее. В одном он был неколебим — в требовании цельности. Он терпеть не мог, когда его останавливали посредине пения. Он считал, что так можно делать только, если его исполнение совершенно не понравилось. Он не мог понять манеры некоторых музыкантов интересоваться напевом безотносительно к тексту. Видимо, напев был для него не самостоятельной эстетической ценностью, а способом произнесения былинных стихов. Так же Иван Терентьевич относился и к сюжету былины; он может быть максимально сжат, но и в сжатом виде должен быть доведен до конца. Сюжет — носитель смысла, а демонстрировать какой-то фрагмент, обрывок ему казалось неразумным. Он считал, что так надо делать независимо от того, знает кто-нибудь из присутствующих сюжет былины или нет. Вспомним, что сходное отношение к цельности былины отмечал и Е. А. Ляцкий у И. Т. Рябина.

Я неоднократно наблюдал подобное отношение к сюжету и у сказочников. Это тоже элемент вполне определенной художественной системы. Разве не известно заранее, что всякая сказка и всякая былина кончается благополучно? Но это не снимает интереса к процессу рассказывания сказки или к ее повторению. То,

что в ней содержится, вовсе не сводится к смыслу, понимаемому чисто логически.

Иван Терентьевич не мог понять, зачем я каждый раз, когда он поет, что-то пишу. Ведь былина была записана еще дома. Что это? Назойливая проверка? Ожидание, что он ошибется? Это его даже раздражало, хотя он старался мне этого не выказывать (приезд в Ленинград он считал не своей, а моей заслугой). Ценности варьирования, повторной записи и сопоставления отдельных актов исполнения он не понимал. Для него все исполнения были одинаково «правильные». Для меня же открывалась счастливая возможность наблюдать, как меняется текст былины в зависимости от обстоятельств, аудитории, состава слушателей, их осведомленности в былинах и т. д.

Интересны были для меня и прогулки с Иваном Терентьевичем по Ленинграду. Сюда он приехал в первый раз. Города, крупнее Петрозаводска, он прежде не видел. Его поражало многое: огромные дома, Петропавловская крепость, городское многолюдие и движение, масштабы города, Нева, морские суда на ней. Мы бродили по улицам, сидели на набережных и в садах, залезли на купол Исаакиевского собора, побывали в зоологическом парке.

Восхождение на Исаакиевский собор было для него чрезвычайным событием. Так высоко он еще никогда не поднимался. Слегка кружилась голова, под нами расстилался Ленинград, на севере синей полосой открывался Финский залив. Иван Терентьевич, несколько потеряв масштабы, стал у меня спрашивать, где Онежское озеро и родная ему Пудога. Я смог показать только примерное направление. Его волновал вопрос — близко ли тут пролетают самолеты. С другой стороны, он воспринимал происходящее в традиционных мифологических категориях. Когда мы спустились вниз, он вдруг сказал: «Побывали мы с тобой живыми на небесах, как

Илья Огненный, а потом опять по земле идем. Как во снах, как во снах!»

В зоопарке он стремился разобраться, какие звери одомашнены, а на каких можно охотиться. Вспоминал виденное на картинках и не очень четко различал зверей мифологических и реальных. И, конечно, сразу разобрался в зверях и птицах, обитающих на нашем севере. Они ему были интересны, но он явно жалел их. Клетки — скверное для них обиталище. Очень оживился он, когда увидел белых медведей, моржа, тюленей, он слышал о них от мужиков, ходивших на Белое море, но никогда не видал. Для каждого из них у него было свое севернорусское название. Он был поражен тем, что на малой территории зоопарка как бы разместились и северные леса, и Белое море, и заморские страны. Меня же удивляло пестрое сочетание очень точных охотничьих знаний с легендарными сведениями о «чужих» животных в духе средневековой письменной (видимо, и устной) традиции, в духе «Физиологов», «О человеках неизвестных в Сибирской стороне» или «Путешествия» Афанасия Никитина. С детства привыкший узнавать зверей по книгам, я не мог представить себе, с каким запасом знаний и ассоциаций может прийти в зоопарк человек, воспитанный на устной и старописьменной традиции. Неожиданным был для меня и этический элемент, который он сразу же внес в наши разговоры. Ему было досадно и почти стыдно, что вместе с хищными и опасными зверьми в клетки запрятаны совершенно безопасные — заяц, лиса, многочисленные птицы. Очень оживился (пожалуй, больше я его таким не видал ни дома, ни в Петрозаводске, ни в Ленинграде) при виде павлина, распутившего роскошный многоцветный хвост. И, конечно, тут же он произнес не «павлин», а «жар-птица». — «Вот это жар, так жар. Век не забуду! А женка-то его, равно как девка, принцесса! Ну, Кирилл, ну, Кирилл!»

В связи с нашими ленинградскими встречами не могу не вспомнить об одном забавном эпизоде, разыгравшемся у меня дома. Я жил тогда в Детском Селе (ныне город Пушкин) под Ленинградом. Вероятнее всего это было в воскресенье, так как моя мама была дома. После прогулки по детскосельским паркам мы с Иваном Терентьевичем и моими университетскими приятелями побывали в Екатерининском дворце, а потом возвратились домой обедать. После обеда И. Т. Фофанов должен был петь.

Мама, зная, что к обеду соберется несколько человек и что для меня это не обыкновенный обед, а праздничный (я ей после лета в Климове о многом рассказывал), решила угостить нас получше, но, как она потом признавалась, совершенно не подумала о привычках нашего главного гостя. Праздничный обед она задумала по-городскому. На первое был отличный мясной бульон с пирожками. Первая тарелка полагалась Ивану Терентьевичу. Когда все уселись и бульон был разлит по тарелкам, последовала чарка и тост за здоровье Ивана Терентьевича. Произнесла его мама, как старшая среди собравшихся. Это несколько смутило гостя, по старым крестьянским обычаям женщина не произносит первого тоста, тем более хозяйка, ее дело пригласить гостей откусать. Но дальше было еще хуже. Когда все начали есть, Иван Терентьевич, взглянув на пустую, с его точки зрения, тарелку, в которой была налита одна водичка (или как бы он сказал «юшка»), потихоньку ее отодвинул и начал жевать пирожки. Мы с мамой переглянулись и поняли, какой совершили промах. С крестьянской точки зрения «юшка» не еда, даже не «хлебово», в ней что-то должно быть. Когда было подано второе, все уладилось наилучшим образом, и явно, чтобы не подчеркивать, что его плохо угостили, Иван Терентьевич с удовольствием попросил добавки и громогласно нахваливал хозяйку. На пути в Ленин-

град (я провожал Ивана Терентьевича до гостиницы Дома ученых, где он жил), я пытался объяснить, почему мама угощала нас именно так, а он меня успокаивал и говорил, что и к городским порядкам можно привыкнуть.

После обеда Иван Терентьевич долго пел. Он заметил, с каким уважением мои друзья относятся к моей маме, он знал также, что она учительница, и после обеда обратился прямо к ней:

— Вера Ивановна, можно я теперь былинка спою!

И в дальнейшем он обращался только к ней. Даже в непривычной обстановке старался он быть, как говорили олонецкие старики, «вежественным», вести себя скромно, обходительно, но с достоинством.

Последняя наша встреча — тогда казалось, что еще многое впереди, т. к. я только начинал работать над сборником былин И. Т. Фофанова — произошла в 1940 году в Климовой. Я уже говорил, что к Ивану Терентьевичу мы завернули в самом конце поездки по северо-восточной части Пудожского района. Дело не только в том, что мне хотелось не упустить возможности лишний раз повидаться с семейством Фофановых. На Купецком должна была произойти встреча двух отрядов пудожской экспедиции 1940 года. Во втором отряде были А. Д. Сойманов, Г. Н. Парилова и Н. А. Бутинов. Найти они должны были нас у Фофановых. Встреча была радостная и по-студенчески шумная. Иван Терентьевич усмехался, мы казались ему ребятишками. Со мной он встретился особо, пока все шумели (и чтобы не терять спокойствия на людях), вывел меня в сени, облобызал и прослезился.

Потом было застолье, но как и каждый раз у него в избе при стечении публики, довольно короткое. За ним последовало сказывание былин Иваном Терентьевичем и, конечно, Никитой Антоновичем Ремизовым. Как ни успешна была работа отрядов, былины Ивана

Терентьевича, его пение и пение Никиты Антоновича стало крупнейшим для нас событием и одновременно конечной наградой за все труды. Шумная компания притихла и прониклась эпическим спокойствием и серьезностью.

Потом члены отряда А. Д. Сойманова, распростившись, пошли на ночлег в соседнюю деревню, где они остановились, а мы втроем остались у Ивана Терентьевича, еще долго сидели и тихо разговаривали. Иван Терентьевич рассказывал о своих делах, семейных и деревенских, вспоминал свою поездку в Ленинград и другие наши встречи, расспрашивал о ленинградских знакомых. Особенно полюбились ему М. К. Азадовский, который встретил его очень ласково и почтительно, и А. М. Астахова. Впрочем, Анну Михайловну Иван Терентьевич помнил еще со времен петрозаводской конференции. Он оценил ее знание былин и умение разговаривать совершенно на равных, попросту и дельно.

Из троих членов нашего отряда Иван Терентьевич знал не только меня, но и Юру Агулянского. Он видел его среди слушателей в Ленинградском университете, потом у меня дома и понял, что мы приятели. Его волновало другое. Третьей среди нас была студентка Б. Е. Марголис. Он поглядывал на нас испытующе и со свойственной ему чуткостью по каким-то оттенкам нашего поведения уловил, что между мной и ею существует большее, нежели просто студенческая дружба. Действительно, это была моя будущая жена Иван Терентьевич пристально нас разглядывал. Он умел это делать так, что нас это не смутило, а потом тихо сказал фразу, которая запомнилась и оказалась совершенно верной:

— Вижу вы бровяма подобные. Будете долго вместе жить...

Вот это нас, конечно, смутило, мы были влюблены, но о будущем еще не очень думали и не считали себя

«женихом» и «невестой». В тогдашнем молодежном обиходе этих слов не было, мы прекрасно обходились без них. Ну, что же? Через сорок лет должен признать, что Иван Терентьевич оказался прав. Но интересно тут и другое. За этой фразой, сказанной вскользь, но со значением, как всегда у И. Т. Фофанова, стоял целый комплекс представлений, выношенных и продуманных. Он считал, что брак может быть прочным, если муж и жена имеют что-то общее даже внешне. Вероятно (подробно поговорить об этом мы тогда не успели, но все-таки самое главное он нам объяснил), он представлял себе дело так, что духовное родство должно обязательно иметь какие-то физические признаки.

Я рассказал об этом эпизоде вовсе не ради курьеза. Он очень характерен для Ивана Терентьевича. Мне, юноше тогда, казалось естественным, что за долгую жизнь Иван Терентьевич успел обо всем подумать — и о своих былинах, и о богатырях, и о жизни, и о людях, которые его окружали, о зверях в лесах и о рыбах в озере, о восходе и о закате... Лет ему много, человек он спокойный, по ночам дежурит и есть время подумать. Теперь же я хорошо знаю, что есть разные люди, иной живет и подольше Ивана Терентьевича, и ни о чем не успеет толком подумать, все суетится, мельтешит. Поэтому я сейчас совершенно уверен в том, о чем догадывался уже и тогда — Иван Терентьевич был человеком безусловно незаурядным, а не только даровитым сказителем. Он постоянно о чем-то размышлял и умел додумывать все до конца, до ясного понимания вещей. Жизнь задавала ему немало загадок, т. к. он был человеком интенсивной традиции, человеком традиционной культуры и жил в современном мире, быстро обновлявшемся и создававшем новые традиции и человеческие взаимоотношения.

Этот очерк мне хочется кончить одним, может быть, неожиданным сопоставлением. Великий Эйнштейн гово-

рил, что если бы он был бургомистром, то он велел бы на каждом перекрестке поставить скамейки. Пусть люди посидят и подумают, куда они бегут и зачем. У них должно быть время подумать о том, кто они такие.

Мудрая мысль! Может быть, мне она поможет еще раз сказать самое главное об Иване Терентьевиче. Он был одним из людей, которые часто присаживаются на свою скамейку и думают о жизни, о себе и о других людях. Только так можно понять и его любовь к былинам, и их сосредоточенное понимание. Для него они были одним из важнейших способов посидеть и подумать о жизни. Быт и традиции севернорусской деревни, в которой он родился и вырос, дали ему это прекрасное средство, очень старое по своему происхождению и по своей сути, но мощное и художественно полноценное. Оно одновременно и очень хорошо вписывалось в действительность тридцатых годов нашего века и не могло уже не противоречить ей. Позже жизнь в своем постоянном изменении лишила людей такой возможности. Былины ныне живут преимущественно в книгах. Конечно, сами по себе они не стали от этого хуже. Но я не могу не радоваться тому, что судьба свела меня сорок лет тому назад с человеком, который знал их не из книг и для которого они были тысячью нитей связаны с его собственной жизнью, его собственными раздумьями о ней.

Кирилл Васильевич Чистов. РУССКИЕ СКАЗИТЕЛИ КАРЕЛИИ.

Очерки и воспоминания.

Редактор *О. А. Петтинен*. Художник *Ю. Ф. Гусенков*. Художественный редактор *Р. С. Киселева*. Технический редактор *Л. В. Шевченко*. Корректор *Э. Г. Растатурина*.

ИБ № 629

Сдано в набор 18.10.79. Подписано в печать 12.02.80. Е—01118. Формат 70×108^{1/2}. Типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,2. Уч.-изд. л. 11,67. Тираж 5000 экз. Заказ 4288. Изд. № 108. Цена 55 коп.

Издательство «Карелия». Петрозаводск, пл. им. В. И. Ленина, 1. Типография им. Анохина Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Карельской АССР, Петрозаводск, ул. «Правды», 4.